



Н. К. ШИЛЬДЕР

Император Александр Первый, его жизнь и царствование

<Фрагменты>

<...> В первом часу пополуночи с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года граф Пален явился в Михайловском замке к наследнику Александру Павловичу с известием о скоропостижной кончине императора Павла. Горесть Александра Павловича была неописанная; он заливался слезами... В это самое время князь Платон Александрович Zubov разбудил цесаревича Константина Павловича и привел его к воцарившемуся императору.

Только с трудом граф Пален уговорил Александра выйти к собранным в Михайловском замке войскам Преображенского и Семеновского полков. “C’est assez faire l’enfant, — сказал Пален, — allez régner, venez vous montrer aux gardes” («Хватит ребячиться, ступайте царствовать, немедленно отправляйтесь показать себя гвардейцам»). — Исполнив желание военного губернатора, новый государь, в сопровождении цесаревича Константина Павловича, отбыл из Михайловского замка в Зимний дворец в два часа пополуночи.

Императрица Елисавета Алексеевна осталась в замке утешать вдовствующую императрицу Марию Феодоровну. В Зимний дворец призван был немедленно отставленный 14 октября 1800 года от службы Дмитрий Прокофьевич Троцинский. Александр кинулся к нему на шею и сказал: «Будь моим руководителем!» Ему поручили тотчас же написать манифест о вступлении на престол императора Александра Первого. Манифест возвещал следующее: «Судьбам Вышняго угодно было прекратить жизнь любезного Родителя нашего, Государя Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего месяца. Мы, восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам

и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки нашей, Государыни Императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна, да, по ее премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим, которых чрез сие призываем запечатлеть верность их к нам присягою пред лицом всевидящего Бога, прося Его, да подаст нам силы к снесению бремени, ныне на нас лежащего».

Этими немногими словами, вылившимися в минуту счастливого вдохновения, Трощинский воспламенил сердца подданных искреннейшею любовью к молодому императору и успокоил умы, взволнованные еще пережитыми тяжелыми днями. Присяга новому императору и наследнику, «который назначен будет», совершилась повсюду утром 12 марта в величайшем порядке. Среди всеобщего ликования всех сословий задумчивым и печальным оставался один Александр. Смерть отца произвела на него потрясающее впечатление. На выходе 12 марта поступь его и осанка изображали человека, удрученного горестью и растерзанного неожиданным ударом рока. Вспоминая впоследствии в откровенных беседах о событиях 1801 года, Александр говорил, что он должен был тогда скрывать свои чувства от всех его окружающих и потому нередко запирался в отдаленном покое и там, предаваясь скорби, выпускал глухие стоны, сопровождаемые потоками слез. В его сознании царская власть, которую он принял на себя столь неохотно, являлась одним тяжелым бременем. Вид огорченного императора-сына покорило ему сердца всех. «После четырех лет, — пишет современник этой эпохи, — воскресает Екатерина из гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена».

Близкое к Александру лицо написало на другой день после восшествия его на престол по поводу события 12 марта следующие правдивые строки: «Его чувствительная душа навсегда останется растерзанною... Только мысль о возвращении своему отечеству утраченного благосостояния может поддержать его. Ничто другое не могло бы придать ему твердости. Она же необходима ему, потому что единому Богу известно, в каком состоянии получит он эту империю... Все тихо и спокойно, если не говорить о почти безумной радости, охватившей всех от последнего мужика до высших слоев общества; грустно, что это даже не может удивлять... Я дышу свободно вместе со всей Россией».

Эти слова любящего его человека оказались пророческими. Действительно, чувствительная душа Александра навсегда осталась растерзанною событием 12 марта, и воспоминание о нем не покидало его

более ни в радостные, ни в печальные минуты его царствования, оно наложило неизгладимую печать на всю его последующую жизнь. «Все неприятности и огорчения, какие мне случатся в жизни моей, я их буду носить, как крест», — сказал император Александр.

Вся мыслящая Россия встрепенулась при известии о воцарении Александра. «Все умы и сердца успокоились», — пишет А. С. Шишков. Восторг был всеобщий и искренний и, по свидетельству современников, выходил даже из пределов благопристойности. Общество как бы возрождалось к новой жизни, очнувшись от терроризма человека, который четыре года, не ведая что творит, мучил Богом вверенное ему царство. На улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга как в день Светлого Воскресения. Природа как бы участвовала в общей радости: до 12 марта погода была сырая и пасмурная, с воцарением же Александра засияло солнце надолго.

Легко было начать новую эпоху, опираясь на такую веру, на такую радость. Все с упованием взирали на юного государя: молодой, прекрасный собою, с кротким и задумчивым взглядом, застенчивый и приветливый, он мог очаровать всех. Россия увидела исполнение пророческого Державинского стиха:

Будь на троне человек.

Ужасные мысли о тюрьмах, пытках, ссылках рассеялись, как зловещие призраки; их заменила надежда на народное благосостояние и на личную безопасность. Уповал и Александр, что он сделает Россию счастливой, что он отдаст ей лучшие годы, лучшие силы, замолит грех, совершенный чужими руками, а затем, благословляемый народом, исполнив заветные мечты, сойдет с выпавшего на его долю блестящего поприща и расстанется с царским венцом, который сделался для него неиссякаемым источником скорби и сожалений.

Граф Завадовский в своей переписке посвятил оценке событий 12 марта несколько своеобразных строк: «Жиды чают мессии, но спасающий нас обрадовал внезапно... благоволением судьбы вышли мы из темных дней. Заживают раны от муки прежней, по удостоверению, что отверженные кнут и топор больше не восстанут: ибо ангел со стороны кротости и милосердия царствует над нами. Зады Иоанна Грозного мы испытали, измеряй потому радость общую, когда можем подымать дух и сердце, когда никто не имеет страха мыслить и говорить полезное и чувствовать себя... возблагодарим счастливое время и что в нем окончим наш век!»

Карамзин оставил в записке «О древней и новой России» правдивую и неподражаемую характеристику правления Павла, пронесшегося,

по его словам, над Россией подобно грозному метеору. «Павел», — пишет Карамзин, — восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства; но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оно. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпенных им неудовольствий он хотел быть Иоанном IV, но россияне имели уже Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен выполнять свои святы обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериной, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворянство от воинской службы; презирал душу, уважал шляпы и воротники; имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способы устрашать людей и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец, соорудил гробницу! Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иностранцев, россияне боялись даже и мыслить: нет, говорили и смело, умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу и не обманывались. Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах; общее бедствие сближало сердца и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности. Вот действие Екатеринына человеколюбивого царствования: оно не могло быть истреблено в четыре года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости... Кто был несчастливее Павла? Слезы горести лились только в недрах его августейшего семейства, тужили еще некоторые им облагодетельствованные, но какие люди? Их сожаление не менее всеобщей радости должно было оскорбить душу Павлову, если она, по разлучении с телом, озаренная наконец светом истины, могла воззреть на землю и на Россию!» В заключение своей характеристики

Карамзин говорит, что россияне с величайшею надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по ее сердцу.

<...> Перечислим здесь в хронологическом порядке и другие важнейшие указы императора Александра, появившиеся в течение трех месяцев вслед за воцарением; они представляют собою целый ряд освободительных мер и служат лучшей характеристикой наступившей тогда новой и небывалой эпохи в русской истории. Подобно тому как Екатерина в 1762 году, Александр имел полное право сказать в 1801 году, что все повеленья его единственно склонялись «к восстановлению всего того, что в государстве по сие время противу доброго порядка вкоренилося». Повеления эти следующие:

14 марта: снятие запрещения на вывоз разных продуктов и товаров из России.

15 марта: манифест, объявлявший амнистию беглецам, укрывшимся в заграничных местах; все вины их, кроме смертоубийства, предавались забвению. Того же числа последовал указ о восстановлении дворянских выборов.

16 марта: снятие запрещения на привоз в Россию разных товаров из чужих краев.

17 марта: отмена в губернских городах ратгаузов, а в уездных ордонанс-гаузов¹.

19 марта: указ, объявленный обер-полицеймейстеру графом Паленом, чтобы чиновники полицейские отнюдь из границ должности своей не выходили, «а тем менее не дерзали причинять никому никаких обид и притеснений».

22 марта: о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее.

24 марта: отмена запрещения на вывоз за границу хлеба и вина.

31 марта: отмена запрещения императора Павла (от 18 апреля 1800 года) относительно ввоза из-за границы книг и музыкальных нот: повеление распечатать частные типографии, закрытые указом 5 июня 1800 года, и дозволение им печатать книги и журналы. — Того же числа была объявлена роспись кирасирским, драгунским, гусарским, гренадерским, мушкетерским и егерским полкам, коим высочайше повелено именоваться прежними историческими именами вместо введенного императором Павлом названия по именам шефов.

2 апреля император Александр, прибыв в общее собрание Сената и заняв место председателя, повелел прочесть подписанные им в тот день пять манифестов: 1) о восстановлении жалованной дворянству грамоты; 2) о восстановлении городского положения и грамоты, данной городам; 3) о свободном отпуске российских произведений

за границу, об оставлении сбора пошлин с оных на прежнем основании и о предоставлении казенным поселянам пользоваться лесами, в чем они были затруднены лесным ведомством; 4) об уничтожении тайной экспедиции и о ведении дел, производившихся в оной, в Сенате, и 5) о облегчении участи преступников и о сложении казенных взысканий до 1000 рублей.

Дух и направление воцарившегося императора в особенности ярко выступают в манифесте об уничтожении тайной экспедиции, в котором государь говорит, что в благоустроенном государстве «все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общою силою закона», и потому признает за благо не только название, но и самое действие тайной экспедиции навсегда упразднить и уничтожить, повелевая все дела, в оной бывшие, отдать в государственный архив к вечному забвению, а на будущее время ведать их в 1-м и 5-м департаментах Сената и во всех тех присутственных местах, где ведаются дела уголовные. В заключение этого манифеста сказано: «Сердцу нашему приятно верить, что, сливая пользы наши с пользами наших верноподданных и поручая единому действию закона охранение Имени нашего и государственной целостности от всех прикосновений невежества или злобы, мы даем им новое доказательство, колико удостоверены мы в верности их к нам и престолу нашему, и что пользы наших никогда не разделяем мы от их благосостояния, которое едино составлять всегда будет все существо мыслей наших и воли».

Все это было действительно ново, от всего веяло чем-то иным, небывалым, предвещавшим, как казалось, коренное изменение государственного управления империи.

8 апреля было повелено уничтожить виселицы, поставленные в городах при публичных местах, и к которым прибывались имена провинившихся лиц.

9 апреля последовал указ, избавлявший солдат от ненавистных пуклей, которые приказано обрезать; косы пока еще сохранялись, и они, имея длину в 4 вершка, должны были завязываться в половину воротника. «Его императорское величество, делая сие облегчение, — сказано в указе, — надеется, что гг. шефы тем более будут наблюдать опрятность нижних чинов». Затем для войск была придумана новая форма; живые призраки времен Семилетней войны наконец исчезли, но екатерининская форма обмундирования не была восстановлена. Широкие и длинные прусского образца мундиры были перешиты в узкие и чрез меру короткие; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того высокими, что голова казалась точно в ящике и трудно было ее поворачивать. Тем не менее все восхищались новой обмундировкой.

22 мая в указе Святейшему Синоду повелено было: «священников и диаконов, в уголовные преступления впадших и судом обличенных, от телесного наказания освободить». При чтении этого указа император Александр лично присутствовал в Синоде.

28 мая генерал-прокурор Беклешов сообщил президенту Академии наук, барону Николаи, следующий указ: «Его императорское величество высочайше повелеть изволил, дабы объявление о продаже людей без земли ни от кого для припечатания в ведомостях принимаемо не было». Это распоряжение обращает на себя внимание, как первое осторожное мероприятие императора Александра, направленное против крепостного права.

В заключение этого краткого перечня первых мероприятий воцарившегося государя упомянем еще об указе 26 июня, по которому отменялись шлагбаумы по городам и селам, где отсутствовал военный гарнизон.

<...> В особом рескрипте на имя графа Завадовского следующим образом определены основные начала, которыми руководствовался император Александр, поручая ему управление столь важной комиссии: «Поставляя в едином законе начало и источник народного блаженства и быв удостоверен в той истине, что все другие меры могут сделать в государстве счастливые времена, но один закон может утвердить их навеки, в самых первых днях царствования моего и при первом обозрении государственного управления признал я необходимым удостовериться в настоящем части сей положении. Я всегда знал, что с самого издания Уложения до дней наших, то есть в течение почти одного века с половиной, законы, истекая от законодательной власти различными и часто противоположными путями и быв издаваемы более по случаям, нежели по общим государственным соображениям, не могли иметь ни связи между собою, ни единства в их намерениях, ни постоянности в их действии. Отсюда всеобщее смешение прав и обязанностей каждого, мрак, облегающий равно судью и подсудимого, бессилие законов в их исполнении и удобность переменить их по первому движению прихоти или самовластия».

В приведенной нами выдержке из официального акта 5 июня желание государя выдвинуть на первый план закон проявляется с такой ясностью, что не может быть подвергнуто никакому сомнению или превратному толкованию. Эта мысль господствовала тогда в уме Александра, не будучи еще ограничена соображениями противоположного свойства. «Как скоро я себе дозволю нарушить законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их?» — писал в то время государь. «Быть выше их, если бы я мог, но, конечно бы, не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона

истекала; напротив, я чувствую себя обязанным первее всех наблюдать за исполнением его, и даже в тех случаях, где другие могут быть снисходительны, а я могу быть только правосудным». Нельзя не признать, что такие мысли не были до тех пор высказаны ни одним русским самодержцем. Они всецело принадлежат Александру Первому.

Указ Сенату о представлении им доклада о сущности его прав и обязанностей раскрыл вполне намерения, одушевлявшие императора в эту счастливую пору его царствования. По отзыву современника Шторха² в издававшемся им тогда периодическом сборнике «Россия при Александре Первом», можно судить, какое сильное впечатление произвел указ 5 июня на общество. «Не подлежит никакому сомнению, — пишет Шторх, — что император мог без шума (*ohne Aufsehen*) более кратким и верным путем получить те сведения, каких он требовал здесь столь публично и столь торжественно; мы вправе предположить, что он не без важных причин отдал предпочтение публичному запросу, и потому можем с вероятностью принять, что этот первый шаг предназначен был к тому, чтобы испытать общественное мнение и приготовить умы к предстоящим переменам. И эта мера не осталась без своего действия. Впечатление, произведенное этим указом в Сенате, было всеобщее, и в несколько дней оно сообщилось всей образованной публике столицы. Вместо того чтобы ограничиться историческими объяснениями о том, чем был до сих пор Сенат по существующим постановлениям и законам, это почтенное сословие, напротив, собрало политические мнения (*staatsrechtliche Meynungen*) своих членов о том, чем Сенат мог бы быть собственно при новом порядке вещей, и в числе этих мнений находилось много таких, которые были весьма свободно высказаны и довольно близко подходили к основному источнику всех политических зол в России... В самом деле, какой государь, в положении Александра, не отступил бы перед симптомами этого рода или по крайней мере не остановился бы на полдороге? Нужно было более чем обыкновенное самоотвержение, нужно было живейшее и самое глубокое убеждение в безусловной необходимости начатых мер, чтобы не стать на ложный путь в виду этих явлений, и кто осмелился бы предполагать это самоотвержение, это убеждение в двадцатичетырехлетнем государе — и в России? Но этот государь был Александр! Надежды человечества не были обмануты... Если нужно было достигнуть порядка в делах, правильности в действиях судов, если нужно было достигнуть законности в понятиях и представлениях народа, то первым условием для этого было именно смягчение самодержавия и приближение его к законно-монархической форме правления».

Без всякого преувеличения можно сказать, что в 1801 году не было правительства в Европе, которое было бы столь исполнено добрыми

намерениями, столь занято общественным благом, как русское. Такое впечатление произвела, по крайней мере в 1802 году, на женевского гражданина Дюмона правительственная обстановка императора Александра. «Это не одни фейерверки, не газетная слава: если в чем есть недостаток, — прибавляет Дюмон, — то в исполнителях, чтобы выполнить то добро, которое хотят сделать. Люди должны быть откопаны или созданы, и в этом главная трудность».

При воцарении Александра лучшие друзья его, за исключением графа П. А. Строгонова, отсутствовали из Петербурга и пребывали за границей. Граф В. П. Кочубей находился в Дрездене, князь Адам Чарторижский в Неаполе и Н. И. Новосильцов в Англии. Лагарп жил в окрестностях Парижа. Один за другим они поспешили собраться вокруг своего венценосного друга. Благодаря этой случайности граф И. А. Строгонов был первым из друзей Александра, который удостоился слышать мысли его о предстоящих преобразованиях. Первая беседа по этому предмету имела место 23 апреля 1801 года. Граф Строгонов высказал мнение, что сперва надлежит устроить внутреннее управление (*administration*), а потом уже приступить к разработке, собственно говоря, конституции (*constitution proprement dite*), и что она должна проистекать из сделанных предварительно преобразований. Император с этим вполне согласился, прибавив, что главным основанием предстоящей работы должно служить определение прав гражданина (*droits du citoyen*). Граф Строгонов на это заметил, что, по его мнению, все эти права заключались в обеспечении имущества и в неограниченной свободе каждого делать все, что не может быть вредно для прочих. Император сказал, что к этому нужно еще присовокупить одно условие, чтобы открыт был свободный путь заслугам. Из этого первого разговора граф Строгонов вынес, однако, впечатление некоторой туманности или неопределенности мнений государя относительно исполнения предстоявшего государственного преобразования <...>. Желая скорее выйти из сферы неопределенных разговоров и создать почву для обсуждения государственного преобразования, к которому стремился государь, граф Строгонов в записке, доложенной императору Александру 9 мая 1801 г., предложил учредить Негласный комитет; работы этого комитета должны были оставаться в тайне, чтобы не возбуждать преждевременного любопытства и толков среди общества. Император Александр согласился с мнением графа Строгонова и изъявил намерение назначить членами этого негласного комитета графа Кочубея, князя Адама Чарторижского, Новосильцова и графа Строгонова. Таким образом тесный кружок друзей Александра должен был образовать особый келейный совет, который государь в шутку называл впоследствии

«Комитетом общественной безопасности (Comité du salut public)». Собрание этого комитета состоялось однако только по прошествии некоторого времени; политические соображения побудили Александра еще повременить этим делом.

Император Александр собственноручным письмом от 17 марта вызвал князя Адама Чарторижского из Италии в Петербург. «Мне нет надобности говорить вам, — писал государь, — с каким нетерпением я вас ожидаю». Князь Адам прибыл в Петербург во второй половине июня месяца; он нашел Александра бледным и утомленным. Император принял его ласково, но, как казалось Чарторижскому, с некоторой сдержанностью; он увел друга в кабинет и там сказал ему: «Хорошо, что вы приехали. Наши ждут вас с нетерпением». Затем Александр, перейдя к недавним событиям, прибавил: “*Si vous aviez été ici, rien de tout cela ne serait arrivé; vous ayant auprès de moi, jamais je n’aurais été entraîné de la sorte*” («Если бы вы были здесь, ничего этого не случилось бы; имея вас рядом с собой, я никогда не был бы втянут в подобное»).

Вообще Чарторижский заметил в Александре некоторую перемену; он перестал думать об отречении; под влиянием обстоятельств в нем выработался более практический взгляд на дела и проглядывало сознание тех трудностей, с которыми сопряжено осуществление многих задуманных в порыве юношеского увлечения реформ. Но в глубине души его образ мыслей оставался неизменным, пишет князь Адам. «То была в продолжение многих лет как бы тайная страсть, в коей мы не смеем признаться перед светом, неспособным понять ее, но которая не перестает владеть нами и увлекает нас, коль скоро нам представляется возможность подчиниться ей». Чарторижский сравнивает Александра с человеком, который любит забавляться игрушками детства и с сожалением покидает любимое развлечение, чтобы возвратиться к обязательным занятиям обыденной жизни.

В одном только отношении Чарторижский не заметил нарушения павловских порядков: печальной памяти вахт-парад производился по-прежнему императором ежедневно, с той только разницей, что отныне он не сопровождался более теми удручающими последствиями, которые вошли в обычай с 7 ноября 1796 года.

Когда весть о вступлении на престол императора Александра дошла до Лагарпа, он написал своему бывшему воспитаннику нижеследующий привет: «Я не поздравляю вас с тем, что вы сделались властителем тридцати шести миллионов подобных себе людей, но радуюсь, что судьба их отныне в руках монарха, который убежден, что человеческие права не пустой призрак и что глава народа есть его первый слуга. Вам предстоит теперь применить на деле те начала,

которые вы признаете истинными. Я воздержусь давать вам советы; но есть один, мудрость которого я уразумел в несчастные восемнадцать месяцев, когда я был призван управлять страной. Он состоит в том, чтобы в течение некоторого времени не останавливать обычного хода администрации, не выбивать ее из давней колеи, а внимательно следить за ходом дел, избегая скоропостижных и насильственных реформ. Искренно желаю, чтобы человеколюбивый Александр занял видное место в летописях мира между благодетелями человечества и защитниками начал истины и добра».

Император Александр 9 (21) мая ответил Лагарпу, что первой истинной радостью, с тех пор как он стал во главе своей несчастной страны (*mon malheureux pays*), было получение письма от него. «Не могу выразить вам всего, что я чувствовал, — писал государь, — особенно видя, что вы сохраняете мне все те же чувства, столь дорогие моему сердцу — и которых ни отсутствие, ни перерыв сношений не могли изменить. Верьте, любезный друг, что ничто в мире не могло также поколебать моей неизменной привязанности к вам и всей моей признательности за ваши заботы обо мне, за познания, которыми я вам обязан, за те принципы, которые вы мне внушили и в истине которых я имел столь часто случай убедиться. Не в моей власти оценить все, что вы для меня сделали, и никогда я не в состоянии буду заплатить за этот священный долг. Буду стараться сделаться достойным имени вашего воспитанника и всю жизнь буду этим гордиться. Я перестал писать вам, лишь повинуюсь самым положительным приказаниям, но не перестал думать о вас и о проведенном с вами времени. Мне было бы отрадно надеяться, что это время может вновь настать, и я был бы несказанно счастлив, если бы это осуществилось. В этом отношении все зависит от вас и от домашних ваших обстоятельств, потому что нет никаких других, которые бы могли этому препятствовать. Но об одной милости прошу вас, а именно писать ко мне от времени до времени и давать же ваши советы, которые будут мне столь полезны на таком посту, как мой, и который я решился принять только в надежде быть полезным моей стране и предотвратить от нее в будущем новые бедствия. Почему вы не можете быть здесь, чтобы руководить мною с помощью вашей опытности и оградить от козней, которым я могу подвергнуться по моей молодости и, может быть, по неведению злобы испорченных душ? Как часто случается, что судишь других по себе, и, желая добра, до тех пор легко поддаешься обольщению, что они одушевлены теми же намерениями, пока опыт не убедит в противном; тогда наступает разочарование, но, может быть, слишком поздно, когда зло уже совершилось. Вот, любезный друг, почему просвещенный и опытный в знании людей друг представляет собою величайшее сокровище,

которое только можно приобрести. Занятия мои не позволяют мне писать вам более. Скажу вам только, что более всего мне доставляет забот и труда согласовать частные интересы и ненависти и заставить других содействовать единственной и исключительной цели — общей пользе. Прощайте, любезный друг: дружба ваша будет служить мне утешением в моих горестях».

Дружеское письмо императора Александра к Лагарпу побудило бывшего наставника государя снова посетить Россию; он прибыл в Петербург в августе 1801 года. Перечисляя друзей императора Александра, собравшихся вокруг него после 12 марта, остается еще заметить, что среди них отсутствовало только одно лицо: граф Аракчеев. Как ни странно звучат слова: граф Аракчеев — друг императора Александра, если сопоставить их с заявлениями и действиями воцарившегося государя, тем не менее история должна признать существование этого печального, неоспоримого факта. Могло казаться, что он забыт императором и не будет более призван на поприще государственной деятельности; однако в действительности этого не было, и, напротив того, как уже выше упомянуто, граф Алексей Андреевич украсился в глазах государя еще новой добродетелью: сердце его было чисто и дух его прав перед Павлом. Благоразумная осторожность и чувство самосохранения побудили лишь «верного друга» отложить до более благоприятной минуты возвращение на службу грузинского отшельника. Действительно, в это время Александр шествовал еще решительными шагами по восходящему пути широко задуманных реформ. В первых указах нового царствования при каждом удобном случае встречались обращения к памяти «Великия Екатерины». Неудобно было возбудить подозрение, что готовится некоторый поворот на старую дорогу; нельзя было безнаказанно столь явно изменить торжественно данному обещанию царствовать по законам и по сердцу Екатерины II, имя же графа Аракчеева неразрывно было связано с павловскими преданиями, от которых все тогдашнее общество отворачивалось с ужасом. Все эти обстоятельства обеспечивали неприкосновенность сельской идиллии графа Аракчеева еще на некоторое время; впрочем, сознание, что у него в лице преемника Павла есть такой же верный друг, как некогда в лице цесаревича, могло служить Алексею Андреевичу до некоторой степени утешением среди невольного бездействия. Терпеливое выжидание графа Аракчеева не осталось без щедрого вознаграждения.

Политические соображения, побуждавшие императора Александра отстранить Аракчеева, вынуждали его, с другой стороны, привлечь к деятельности некоторых из бывших екатерининских сановников. Сверх Д. П. Трощинского и А. А. Беклешова такой же

чести удостоились еще граф Александр Романович Воронцов³, граф Завадовский и граф Морков⁴. Находившийся в Англии граф Семен Романович Воронцов, подвергшийся опале императора Павла, снова занял покинутый им дипломатический пост при великобританском дворе; кроме того, запрещение, наложенное на его поместья в России, было снято Александром на другой же день по восшествии на престол.

К екатерининским деятелям юный император относился вообще крайне недружелюбно; это подтверждается в достаточной мере его перепиской и засвидетельствовано современниками. Гатчинские традиции оставили в нем такой глубокий след, что он не любил даже, когда вспоминали при нем о царствовании Екатерины. Графа Завадовского Александр признавал ничтожеством, настоящей овцою. К графу А. Р. Воронцову он питал непреодолимое отвращение; все было ему антипатично в старике: устарелые приемы, звук голоса, протяжный и гнусливый, привычные телодвижения. Когда он в 1804 году по болезни удалился от дел, Александр, по замечанию очевидца, радовался, как ребенок.

Для довершения затруднительности положения старых сановников при деловых сношениях с государем они вздумали еще враждовать между собой, чем окончательно уронили себя в его глазах. Относительно Беклешова и Троицкого император Александр усвоил себе по этому случаю особую систему действий. «Они, без сомнения, по опытности своей в делах знающее всех прочих государственных чиновников, — сказал однажды государь, летом 1801 года, генерал-адъютанту Комаровскому, — но между ними есть зависть. Я приметил это, потому что, когда один из них объясняет какое либо дело, кажется, нельзя лучше; лишь только оно коснется для приведения в исполнение до другого, тот совершенно опровергает мнение первого, тоже, кажется, на самых ясных доказательствах. По неопытности моей в делах, я находился в большом затруднении и не знал, кому из них отдать справедливость; я приказал, чтоб по генерал-прокурорским делам они приходили с докладом ко мне оба вместе, и позволяю им спорить при себе сколько угодно, а из сего извлекаю для себя пользу».

Державин в своих записках выражает сожаление о вражде Беклешова и Троицкого, благодаря которой они ослабили доверенность к ним государя «и сбили с твердого пути, так что он не знал, кому из них верить». Беклешова же Державин обвиняет, сверх того, в том, что он присвоил себе всю власть, так сказать, самодержавную. Антагонизм, существовавший между генерал-прокурором и Троицким, подтверждается также свидетельствами и других современников александрова царствования. Михайловский-Данилевский

пишет, что Беклешов и Троцинский не имели столько патриотизма и возвышенности души, чтобы совокупно споспешествовать ко благу России и оправдать тем доверие юного монарха. «Сколь ни велики были способности сих особ, — присовокупляет Данилевский, — но они не были в согласности с просвещением XIX века».

Из сделанного краткого очерка мероприятий, сопровождавших в России перемену царствования, очевидно, насколько Александр руководствовался еще в то время своими идеальными воззрениями. При каждом удобном случае государь выставлял принцип законности, которому охотно подчинял неограниченность своей собственной самодержавной власти, и решительно отклонял от себя всякий произвол, на который его нередко вызывали. Александр в эту пору своей жизни представлял вообще явление необычайное в русской истории и обнаружил столько искреннего желания добра и справедливости, что именно поэтому возбудил к себе сочувствие и уважение всех честных людей не только в России, но и в Европе. Это чувство, замечает современник александровской эпохи, и эта ревность к общему благу хотя и не были обильны результатами, тем не менее сделали то, что имя его будет с честью жить в истории.

<...> Выше было уже упомянуто о намерении императора Александра собрать из ближайших своих друзей негласный комитет. Но это намерение не приводилось в исполнение: поджидали приезда князя Адама Чарторижского; вероятно, и другие соображения также повлияли на отсрочку этого собрания. Император Александр не располагал еще в этом деле достаточной свободой действий и должен был соображать свои начинания со взглядами всеильного петербургского военного губернатора. Как бы то ни было, но немедленно после удаления от дел графа Палена начались правильные заседания негласного комитета, при постоянном участии самого государя. Первое собрание комитета состоялось 24 июня 1801 года; членами его были граф П. А. Строгонов, Н. Н. Новосильцов, князь Адам Чарторижский и граф В. П. Кочубей. Из них Строгонов, Новосильцов и Чарторижский образовали между собою тесный дружеский союз, который современное общество называло триумвиратом. Благодаря обыкновению графа П. А. Строгонова по возвращении с комитетских собраний записывать у себя дома весь ход совещаний и даже споры, для истории сохранился драгоценный источник, дающий возможность судить о том, как велось дело в негласном комитете и какие вопросы были там затронуты.

«Лица, удостоенные доверием его величества по участию, некоторым образом, в систематической работе над реформой безобразного здания администрации империи (*réforme de l'édifice informe du*

gouvernement de l'Empire), — пишет граф Строгонов, — получили со стороны его величества согласие на утверждение той идеи, что необходимо предварительно иметь у себя перед глазами картину действительного состояния империи, во всех ее частях, чтобы получить возможность судить более сознательно — если смею так выразиться — и о болезни, и о методе лечения, которому должно следовать. Г. Новосильцов взял на себя эту работу, и так как подобный труд потребует много времени, то его величество согласился рассматривать его по частям».

Только после такой предварительной работы определено было приступить к тому, чтобы начать реформу различных частей администрации “*et enfin couronner ces différentes institutions par une garantie offerte dans une constitution réglée d'après le véritable esprit de la nation*” («и наконец увенчать разнообразные ее учреждения гарантией, заключенной в конституции, установленной согласно истинному духу нации»).

Таким образом, комитет, разделив всю свою колоссальную работу на три части, предположил: 1) изучить действительное состояние государства в настоящем его виде; 2) произвести затем административные реформы по различным частям управления и, наконец, 3) увенчать все эти преобразования конституцией, которая ручалась бы за прочность административных реформ.

В одном из последующих заседаний Комитета император Александр указал на желанную цель, к которой он стремился при обсуждении реформ: обуздать деспотизм нашего правительства (*de mettre un frein au despotisme de notre gouvernement*). Эта мысль, как мы видели, уже давно занимала Александра; он всегда чувствовал отвращение к деспотизму, к произволу, стеснялся неограниченностью предстоявшей ему власти, искал противовеса ей и вообще стремился неопределенность абсолютной монархии привести в известные твердые нормы. Но вместе с тем можно было также проследить, что все эти передовые мысли, весь этот отвлеченный или идеалистический либерализм уживался в его уме, уже в дни юности, со стремлениями и симпатиями совершенно противоположного свойства; судьба готовила им даже в будущем преобладающее значение.

Для заседаний комитета установился следующий порядок. Члены комитета пользовались привилегией обедать за царским столом; после кофе, поговорив несколько минут с прочими приглашенными, император удалялся; но пока остальные гости разъезжались, четыре избранника вводились через особый ход в небольшую туалетную комнату, смежную с внутренними покоями их величеств. Туда приходил государь и там, в его присутствии и при его участии, происходили

оживленные и продолжительные прения по вопросам о реформе «безобразного здания».

В этом собрании, пишет князь Чарторижский, «Строгонов был самый пылкий, Новосильцов самый рассудительный, Кочубей самый осторожный, я же самый бескорыстный и старавшийся всегда успокоить чрезмерное нетерпение». Александр выслушивал мнения, высказываемые членами комитета, и обыкновенно оставлял своих советников в неведении, к какому заключению придет он сам; он как будто присматривался и обдумывал вещи про себя, не отклоняясь от свойственных ему сдержанности и осторожности. Когда же он останавливался на каком-нибудь мнении, то выказывал чрезвычайное упорство. Строгонов замечает по этому поводу, что возражения и идеи Александра не всегда были основательны, но противоречить ему не решались: «...вступив в спор с императором, следовало опасаться, чтобы он не заупрямился (*qu'il ne s'entêta*), и благоразумнее было отложить возражения до другого случая». Через несколько времени это упорство ослабевало само собою, и он опять становился способным выслушивать возражения. По отношению к внешним делам этот оптимизм советников Александра оправдался менее всего; оказалось, что политическую точку зрения, усвоенную раз государем, было всего труднее поколебать. На этом поприще впоследствии потерпел решительное поражение даже такой искусный политический делец, каким следует признать одного из влиятельных членов триумvirата, — князь Адам Чарторижский.

В августе 1801 г., как уже выше упомянуто, Лагарп прибыл наконец в Петербург; немедленно он был принят Александром и провел у него около трех часов. Государь приглашал его в Москву на коронацию, но Лагарп отказался, чтобы не возбудить толков и зависти в придворном кругу. Император посещал Лагарпа два раза в неделю; часто государь заставлял его в халате, приходя к нему побеседовать, как молодой друг к своему старому наставнику. Но Лагарп, беседовавший с Александром в 1801 году, был уже далеко не тот якобинец, который смущал русское придворное общество в 1794 г. Опыт управления Гельветической республикой оказал свою долю влияния на образ мыслей бывшего директора ее. Отныне Лагарп стал предостерегать своего воспитанника против призрачной свободы народных собраний и против либеральных увлечений вообще; он убеждал Александра дорожить своей властью, видоизменяя ее мало-помалу мудрыми и прочными учреждениями. Для подкрепления своих доводов Лагарп указывал на пример Пруссии, нашедшей тайну соединить абсолютизм с законностью и порядком. Окончательно все советы Лагарпа сводились теперь к одному основному началу — твердой

и непоколебимой власти, но, конечно, отнюдь не в смысле реакции. «Вам, государь, — писал Лагарп, — подобает даровать народу своему великое благо — спасти его от произвола ваших преемников и дать стране такие учреждения, которые, сохраняя правительству его силу, ограждали бы народ от самовластия тиранов. Вы так думали и чувствовали, когда еще не испытали обаяния власти. Будучи в течение восемнадцати месяцев облечен властью, которую обстоятельства делали неограниченной, я могу засвидетельствовать, что требуются большие усилия и надо быть постоянно на стороже, чтобы не поддаться заманчивому призыву самовластия. Первая потребность вашего народа — мир, вторая — просвещение, третья — судопроизводство, которое доставило бы жителям империи существенные блага гражданской свободы. Ваше судопроизводство — сущий Дедал, и только кляузы, плутни и взятки помогают выбраться из этого лабиринта. Заключу своим старым припевом: единственный верный друг монарха — его собственное здравое рассуждение».

Таким образом, оказалось, что, противно всем опасениям его недоброжелателей, Лагарп стал играть роль ревнивого охранителя независимости Александра, предостерегал его от политических увлечений и советовал не отступать от спокойного благоразумия. Что касается возбужденного тогда императором Александром вопроса о правах Сената, то Лагарп высказался самым решительным образом против расширения его прав, усматривая в этом западню, поставленную государю немедленно по его вступлении на престол. Относительно крестьянского вопроса Лагарп говорил Александру следующее: «Главным препятствием для повсеместного распространения школ в России служит крепостное состояние огромной массы народонаселения. Какое образование возможно для людей, прикрепленных к земле, которыми владельцы их могут распоряжаться произвольно, чтобы не сказать безнаказанно. Народное просвещение соприкасается здесь с вопросом о крепостном праве, который очень легко решают в кабинете, но с величайшим трудом — в действительной жизни. Во всяком случае вопрос этот должен быть решаем постепенно, без шума и тревоги, а главное — без малейшего посягательства на права собственности». Лагарп простирали свою осторожность в крестьянском деле до того, что советовал далее государю все относящиеся к нему меры называть не иначе, как только улучшением или упрощением экономического быта (*simplification apportée à leur économie*), всячески избегая слов: свобода, воля, освобождение.

Лагарп никогда не присутствовал в заседаниях негласного комитета; император только передавал его членам длинные записки своего наставника по разным вопросам, составлявшим предмет обсуждения

в собраниях. Некоторые мысли Лагарпа получили применение в намеченных преобразованиях, в особенности по народному просвещению. Деятельность Лагарпа не ограничивалась, однако, одними советами по вопросам общественным, политическим и литературным, но переходила нередко и к вопросам, касавшимся лично самого государя. Александр просил своего наставника высказать мнение, до какой степени его обращение, умение держать себя и т. п. соответствуют высокому званию, к которому он не успел еще привыкнуть. Лагарп отозвался на эту просьбу со всем усердием няни, не спускающей глаз со своего любимого детища. Лагарп принялся ревностно следить за государем и во дворце, и в обществе, и на площади, смешиваясь с толпой, чтобы удобнее замечать каждое его движение. Заметив несколько раз, как император, краснея, проходил мимо стоявших на коленях с просьбами в руках, Лагарп сказал ему: «Монарх в толпе народа, собственными руками берущий просьбы у бедняков, покрытых рубищами, несравненно величественнее, нежели впереди блестящего двора, и могущественнее, нежели во главе многочисленной армии». Наблюдая за Александром во время дворцовых выходов, Лагарп нашел, что молодой государь вообще очень хорошо исполняет свою роль. Тем не менее старый и строгий ментор счел нужным препроводить своему бывшему воспитаннику следующие замечания: «1) Вы вошли в залу немного робко; хвалю ваше сердце: скромность как нельзя более к лицу юности, но государь должен иметь вид более уверенный; чистая совесть и искреннее желание блага России — вот что дает вам право смотреть прямо и смело на все окружающее. 2) Вы обошли собрание несколько поспешно. 3) Вы весьма хорошо сделали, обратившись с приветом к лицам, почтенным по своим заслугам, но некоторых из них вы не удостоили ласковым словом. 4) Мне кажется, наконец, что, являясь вместе с императрицей, вы облегчили бы себе труд торжественного приема, не говоря уже о том, что это произвело бы отрадное впечатление на всех, искренно вас любящих. — Где бы вы ни были, в обществе ли, среди народа, или в кругу лиц, которым вверили вы отдельные отрасли управления, держите себя по-царски: я вовсе не слепой поклонник этикета, но глава народа должен, употребляя живописное выражение Демосфена, облекаться в величие своей страны».

Несмотря на некоторое изменение прежних взглядов Лагарпа и на осторожное отношение его к общественным вопросам, волновавшим тогда русское общество, он по-прежнему подвергался нападкам своих многочисленных недоброжелателей и завистников. Граф Н. П. Панин в особенности относился к нему с непримиримой ненавистью; он старался даже по мере сил препятствовать появлению Лагарпа в Петербурге, опасаясь влияния на государя этого злодея

(scélérat). Одушевлявшая Панина злоба выразилась в следующих язвительных строках его письма к графу С. Р. Воронцову: «Швейцарец, известный вам, едет сюда, и, невзирая на сильные представления матери и на мои, паспорт отправлен к нему на встречу. Из Парижа и Берлина уведомляют меня, что он имеет тайные поручения от корсиканца. Поверьте мне, милостивый мой граф, что сей человек будет управлять своим воспитанником и не допустит к нему верных сынов отечества. Все благомыслящие со мной в том согласны. Я совершенно уверен, что нельзя мне будет остаться на сем месте».

Ввиду неудовольствия благомыслящих император Александр считал даже нужным успокоить встревоженных верных сынов отечества, заявив графу Кочубею, что дела пойдут своим порядком и Лагарп, конечно, не будет принимать в них участия; государь поручил Кочубею написать об этом графу С. Р. Воронцову в Лондон. Исполняя поручение, данное ему Александром, граф Кочубей представил вместе с тем следующую картину положения России в эпоху, предшествовавшую коронации: «Кому не пришлось быть свидетелем последних лет царствования Павла I и кто лишен возможности почерпнуть у самого источника сведения о всем том беспорядке, расстройстве, полном хаосе, который они породили, тот никогда не поймет хорошенько нашего положения и тех усилий, которые приходится употреблять, чтобы разобраться во всем этом. Когда я думаю об этом, я часто говорю себе, что всякая другая страна не выдержала бы этого, и радуюсь, видя необычайную жизнеспособность нашего отечества. Через год, при бережливости императора, мы заживем совершенно иною жизнью, тогда мы вздохнем полной грудью. Неуравновешенное состояние всех отраслей управления войдет в свою обычную колею, все привыкнут наслаждаться своей свободой и безопасностью с большим спокойствием. Сегодня это еще горячка, неотвязчивое воспоминание о самом ужасном деспотизме».

Так рассуждал граф Кочубей. Иначе мыслили о положении дел непримиримые сторонники политического застоя. Красноречивым представителем этих приверженцев старинных идеалов может служить граф Семен Романович Воронцов. По его убеждению, императору Александру следовало возвратить дела в то положение, в котором они находились в отношении порядка и правосудия (*l'ordre et l'administration de la justice*) со времени учреждения Петром Великим Сената до первого года царствования Екатерины II; в противном же случае России угрожала бы гибель. Таким образом, этот просвещенный дипломат, никогда не пожелавший расстаться с Англией, отвергал даже пользу всех нововведений екатерининского царствования. Переходя затем к правлению Александра, он находил, что, к несчастью, государь окружил себя дельцами (*des faiseurs*), которые, будучи исполнены

самолюбия и тщеславия, вообразили себя выше великого основателя русской империи. Эти господа, пишет Воронцов в письме к графу Ростопчину, начали работать над бедной Россией регламентами (*par des réglements*), появлявшимися каждый день; эти господа были настоящими машинами для изготовления регламентов (*des machines à réglement*); они только этим и занимались, притом с быстротою, равносильною их невежеству и легкомыслию. Эти указы основывались на гадательных предположениях их воображения и не усвоенном чтении; это были опыты, которые они хотели производить над несчастной Россией, но они не знали, что опыты хороши только в физике и химии и что они губительны в юриспруденции, в администрации и в политической экономии. В заключение граф Воронцов приходил к неизменному выводу, что только один Сенат и учреждение коллегий, основанные Петром Великим, могут помочь злу.

Когда граф Семен Романович Воронцов в конце мая 1802 г. навестил на короткое время Петербург, он остался верен своей программе и не переставал говорить императору Александру о Сенате. Чарторижский по этому поводу пишет с иронией в своих записках, что государь и во сне должен был слышать голоса, кричавшие ему в ухо: Сенат, Сенат!

<...> Ко дню коронавания императора Александра предположено было обнародовать один весьма важный факт, который хотя не состоялся, но тем не менее заслуживает полного внимания историка по мыслям, положенным в его основание: это был *проект всемилоливейшей грамоты, русскому народу жалуемой*.

«При вступлении нашем, по воле Всевышнего, на прародительский Российский императорский престол,— так начинается грамота,— извещая о сем любезных наших верноподданных того ж дня манифестом, изъявили мы волю и намерение наше употребить все силы и старания к участию России, управляя народом, скипетру нашему от Бога вверенным, коренными законами, имея первым предметом благоденствие всех наших верноподданных. Сей приятный долг сердцу нашему потщимся мы во всем его пространстве выполнить, принося теплые молитвы пред Богом, да подкрепит и поможет в бремени сего служения, по воле Царя царей на нас возложенном. По случаю коронавания и помазания нашего, за долг себе поставляем пред сердцевицею Богом и пред сим славным и многочисленным народом, скипетру нашему подвластным, изъявить, что всегда первый и единый наш предмет будет: благополучие, спокойствие и сохранение целости Российского государства и народа. Не менее правилом себе поставляем признать сию истину, что не народы сделаны для государей, а сами государи промыслом Божиим установлены для пользы и благополучия народов,

под державою их живущих; а потому узаконяем и обещаем императорским нашим словом за нас и преемников наших, яко коренным законом, следующие статьи». За этими вступительными словами следовали самые статьи, числом двадцать шесть.

После царствования Павла надлежало исправить многое и восстановить то, что было уже в прежних законах; но в грамоту внесено было также и несколько постановлений совсем новых и, сверх сего, несколько обещаний правительства относительно будущих мероприятий. Подтверждались и восстанавливались в прежней силе: дворянская грамота и городовое положение, право свободного выезда за границу, общие права собственности, личной безопасности и давности гражданской и уголовной, уничтожение конфискации и обращение имущества наказанных гражданской смертью, во всяком случае, к законным наследникам, наконец, обращение всяких исков сперва к имению, а потом уже к лицу, и право последнего владельца в роде свободно располагать своих имением.

Вновь постановлялось: 1) что обвиняемый в преступлении, пока он не объявлен по законному приговору виновным, должен сохранять неприкосновенно все свои права; 2) что каждому подсудимому дозволяется избрать себе защитника и, сверх того, в делах как уголовных, так и гражданских, отвергнуть по законным причинам своих судей; 3) что тот, кто, быв задержан, в течение трех дней от задержания не будет представлен к суду для допроса, может требовать от ближайшего начальства немедленного своего освобождения; 4) что наказания за оскорбление величества должны быть прилагаемы к одним только прямым деяниям, но отнюдь не к словам и сочинениям; 5) что никто не может быть вторично потребован к суду за такое преступление, за которое был уже однажды судом оправдан; 6) что казна, по тяжбам с частными лицами, подчиняется в порядке судопроизводства совершенно одинаковым с последними правилам; 7) что впредь никакие подати и налоги не могут быть учреждены иначе, как по именному указу, обнародованному чрез Сенат.

Правительство затем обещало: усовершенствование вообще законов, покровительство торговле и устройство удобных путей сообщения, свободу веры, мысли, слова, письма и деяния, *поколику они законам государственным не противны*, усовершенствование правила о том, что всяк судится не иначе, как равными себе. Наконец, присовокуплялось еще уверение, что до издания устава судопроизводства не будет делаво, собственно по этой части, никаких перемен, а если бы они когда в частности вознадобились, то действительными должны быть признаваемы только те, которые будут утверждены государем по докладам Сената в общем совещании с коллегиями и равными им местами.

Некоторые меры, включенные в грамоту, действительно, впоследствии обращены были в закон, однако в другой форме и не совокупным актом, а каждая отдельно. Но то, что таким образом осуществилось, относилось почти исключительно к возобновлению и восстановлению силы прежних постановлений, а все предположенное в грамоте новое отпало и никогда не было приведено в действие.

Кто был составителем этой новой предположенно жалованной грамоты, трудно решить. Судя по напечатанному извлечению из заседаний негласного комитета, можно думать, что в составлении грамоты принимал деятельное участие *граф Александр Романович Воронцов*, и представлена она была в комитет по повелению императора Александра. Грамота обсуждалась в собраниях комитета 15 и 23 июля 1801 года. Кроме того, судя по некоторым сделанным Сперанским поправкам, проект этой грамоты прошел через его руки; но, по занимаемому тогда Сперанским скромному служебному положению, он не мог видоизменять проекта по существу, а должен был ограничиться поправками мелкими и ничтожными, не касаясь нигде мыслей или даже оборотов самого изложения, так, например, неудачное слово *участливление* он заменил словом *благоденствие*.

При обсуждении в негласном комитете проекта грамоты, представленного графом Воронцовым, некоторые статьи ее, касающиеся прав дворянства, возбудили большие прения. Новосильцов настаивал на том, чтобы не распространять льгот грамоты на безграмотных дворян, не имеющих понятия о своих правах и обязанностях, а равно тех, кои сделались недостойными чести присутствовать на дворянских собраниях жестоким обращением со своими крестьянами. Государь, со своей стороны, хотел положить резкое различие между принесшими пользу стране своей службой и проводящими жизнь в праздности: он полагал, что особенными преимуществами должны пользоваться только те, кои приобрели на то права личными заслугами, а не целое сословие, и прибавил к тому, что он *восстановил дворянскую грамоту против собственной своей воли и что исключительность дарованных ей прав всегда была ему противна*. Ему ответили, что служба давала чины, которых не имели не служившие дворяне; что же касается до исключительных преимуществ, то ничто не мешало со временем распространить их на прочие сословия. Строгонов пишет, что государь, казалось, был доволен этим замечанием.

В другом заседании рассуждения перешли на те статьи проекта, которые относились к предоставлению крестьянам права приобретать общинные земли (*de pouvoir faire l'acquisition de communes*). Государь возражал, что при настоящем положении дел помещики всегда имеют возможность присвоить себе земли, купленные их крестьянами.

Ему отвечали, что эта мера только первый шаг, и притом крестьяне и до того времени уже приобретали недвижимую собственность на чужое имя (*avec des prête-noms qui souvent en abusaient*). От этого вопроса перешли к другому предложению Воронцова, а именно: — уничтожить «*шлахтбаумы*» и паспортные формальности, которые, по замечанию членов комитета, действительно мешают одним честным людям в их полезной предприимчивости, а воров, мошенников нисколько не стесняют в злых умыслах. Горячие прения по этому предмету не привели ни к каким результатам. Затем обсуждались статьи проекта, относящиеся к судебному порядку и заимствованные из *Habeas corpus*. Новосильцов заметил, что прежде утверждения такого права следует хорошенько подумать, не будет ли правительство вынуждено иногда нарушать *Habeas corpus*, а в таком случае лучше уже и не принимать его. Государь сказал, что именно это самое замечание он уже сделал графу Воронцову.

В заключение члены комитета обратились к государю с просьбой сообщить все их замечания Воронцову, но только как свои собственные, и предложить ему посоветоваться с Новосильцовым и Кочубеем, чтобы вместе с ними выработать новый проект на основании замечаний, сделанных в комитете. Вот все, что нам удалось выяснить относительно возникновения и содержания неосуществившейся грамоты русскому народу.

<...> К числу попыток императора Александра вступить на путь, который бы вел к разрешению крестьянского вопроса, следует отнести указ от 20 февраля 1803 года о свободных земледельцах. Этим указом разрешалось всем помещикам, кто пожелает, увольнять своих крестьян целыми селениями или отдельно с землей по заключении условий, на обоюдном согласии основанных. Министерству внутренних дел предоставлялись рассмотрение и утверждение этих условий. Мера эта была обнародована вследствие изъявленного графом Сергеем Петровичем Румянцевым⁵ желания отпустить на волю некоторых крестьян с участками земли. Эта благая мера, согласовавшаяся с задушевными мыслями и желаниями императора, нашла себе, как и следовало ожидать, ожесточенных критиков среди русского общества. Державин, занимавший тогда должность министра юстиции, употребил все усилия, чтобы убедить Александра в неудобстве сего нового закона, но тщетно; он старался даже внушить сенаторам, чтоб они представили всеподданнейший доклад о неполезности указа, но и в этом не имел успеха. Зато Державин в своих записках не пощадил сенаторов, а главным образом обрушился на виновника этой ненавистной ему меры; в своих записках он пишет: «Румянец выдумал (смею сказать, из подлой трусости государю угодить) сред-

ства, каким образом сделать свободными господских крестьян. Как это любимая была мысль государя, внушенная при воспитании его некоторым его учителем Лагарпом, то Румянцев, чтоб подольститься государю, стакнувшись наперед, смею сказать, с якобинской шайкой — Чарторижским, Новосильцовым и прочими, подал проект, чтоб дать свободу крестьянам от господ своих откупаться».

В жизни русского народа указ 20 февраля не сопровождался теми благодетельными последствиями, которые были возможны; он был обставлен такими стеснительными формальностями и пополнение его отличалось такой боязливостью, что скромный успех в освободительном смысле был возможен отчасти только в первое время, когда преобразовательный пыл нового царствования не успел еще охладеть. Затем непрерывный ряд внешних войн похоронил крестьянский вопрос; к тому же, император Александр не допускал в деле освобождения проявления частной инициативы, считая его своим личным делом. Поэтому в его царствование крестьянский вопрос не пошел далее смутных филантропических стремлений и рассуждений, оставшись без всяких практических последствий. Но зато с тех пор в общество прочно запала идея об освобождении крестьян, и в конце царствования она уже стала неопровержимой истиной в убеждениях многих выдающихся передовых деятелей.

